СОВЕТСКАЯ РОССИЯ

Бенефис лорда Керзона

Ровно в шесть утра поезд вбежал под купол Брянского вокзала. Москва. Опять дома. После карикатурной провинции без газет, без книг, с дикими слухами — Москва, город громадный, город единственный, государство, в нем только и можно жить.

Вот они, извозчики. На Садовую запросили 80 миллионов. Сторговался за полтинник. Поехали. Москва. Москва. Из парков уже идут трамваи. Люди уже куда-то спешат. Что-то здесь за месяц новенького? Извозчик повернулся, сел боком, повел туманные, двоедушные речи. С одной стороны, правительство ему нравится, но с другой — шины полтора миллиарда! Первое Мая ему нравится, но антирелигиозная пропаганда «не соответствует». А чему, неизвестно. На физиономии написано, что есть какая-то новость, но узнать ее невозможно.

Пошел весенний, благодатный дождь, я спрятался под кузов, и извозчик, помахивая кнутом, все рассказывал разные разности, причем триллионы называл «триллиардами» и плел какую-то околесицу насчет патриарха Тихона, из которой можно было видеть только одно, что он — извозчик — путает Цепляка, Тихона и епископа кентерберийского.

И вот дома. А никуда я больше из Москвы не поеду. В десять простыня «Известий», месяц в руках не держал. На первой же полосе — «Убийство Воровского!»

Вот оно что. То-то у извозчика — физиономия. В Москве уже вчера знали. Спать не придется днем. Надо идти на улицу, смотреть, что будет. Тут не только Вороваский. Керзон. Керзон. Керзон. Ультиматум. Канонерка. Тральщики. К протесту, товарищи!! Вот так события! Встретила Москва. То-то показалось, что в воздухе какое-то электричество!

И все-таки сон сморил. Спал до двух дня. А в два проснулся и стал прислушиваться. Ну да, конечно, со стороны Тверской — оркестр. Вот еще. Другой. Идут, очевидно.

В два часа дня Тверскую уже нельзя было пересечь. Непрерывным потоком, сколько хватал глаз, катилась медленно людская лента, а над ней шел лес плакатов и знамен. Масса старых знакомых, октябрьских и майских, но среди них мелькали новые, с изумительной быстротой изготовленные, с надписями, весьма многозначительными. Проплыл черный траурный плакат «Убийство Воровского — смертный час европейской буржуазии». Потом красный «Не шутите с огнем господин Керзон». «Порох держим сухим».

Поток густел, густел, стало трудно пробираться вперед по краю тротуара. Магазины закрылись, задернули решетками двери. С балконов, с подоконников глядели сотни голов. Хотел уйти в переулок, чтобы окольным путем выйти на Страстную площадь, но в Мамонтовском безнадежно застряли ломовики, две машины и извозчики. Решил катиться по течению. Над толпой поплыл грузовик-колесница. Лорд Керзон в цилиндре, с раскрашенным багровым лицом, в помятом фраке, ехал стоя. В руках он держал веревочные цепи, накинутые на шею восточным людям в пестрых халатах, и погонял их бичом. В толпе сверлил пронзительный свист. Комсомольцы пели хором:

Пиши, Керзон, но знай ответ:
Бумага стерпит, а мы нет!

На Страстной площади навстречу покатился второй поток. Шли красноармейцы рядами без оружия. Комсомольцы кричали им по складам:

— Да здрав-ству-ет Крас-на-я Ар-ми-я!!

Милиционер ухитрился на несколько секунд прорвать реку и пропустил по бульвару два автомобиля и кабриолет. Потом ломовикам хрипло кричал:

— В объезд!

Лента хлынула на Тверскую и поплыла вниз. Из переулка вынырнул знакомый спекулянт, посмотрел: знамена, многозначительно хмыкнул и сказал:

— Не нравится мне это что-то... Впрочем, у меня грыжа.

Толпа его затерла за угол, и он исчез.

В Совете окна были открыты, балкон забит людьми. Трубы в потоке играли «Интернационал». Керзон, покачиваясь, ехал над головами. С балкона кричали по-английски и по-русски:

— Долой Керзона!!

А напротив на балкончике под обелиском свободы Маяковский, раскрыв свой чудовищный квадратный рот, бухал над толпой надтреснутым басом:

...британ-ский лев-вой!
Ле-вой! Ле-вой!

— Ле-во! Ле-вой! — отвечала ему толпа. Из Столешникова выкатывалась новая лента, загибала к обелиску. Толпа звала Маяковского. Он вырос опять на балкончике и загремел:

— Вы слышали, товарищи, звон, да не знаете, кто такой лорд Керзон!

И стал объяснять:

— Из-под маски вежливого лорда глядит клыкастое лицо!!. Когда убивали бакинских коммунистов...

Опять загрохотали трубы у Совета. Тонкие женские голоса пели:

— Вставай, проклятьем заклейменный!

Маяковский все выбрасывал тяжелые, как булыжники, слова, у подножия памятника кипело, как в муравейнике, и чей-то голос с балкона прорезал шум:

— В отставку Керзона!!

В Охотном во всю ширину шли бесконечные ряды, и видно было, что Театральная площадь залита народом сплошь. У Иверской трепетно и тревожно колыхались огоньки на свечках, и припадали к иконе с тяжкими вздохами четыре старушки, а мимо Иверской через оба пролета Вознесенских ворот бурно сыпали ряды. Медные трубы играли марши. Здесь Керзона несли на штыках, сзади бежал рабочий и бил его лопатой по голове. Голова в скомканном цилиндре моталась беспомощно в разные стороны. За Керзоном из проулка выехал джентльмен с доской на груди: «Нота», затем гигантский картонный кукиш с надписью: «А вот наш ответ».

По Никольской удалось проскочить, но в Третьяковском опять хлынул навстречу поток. Тут Керзон мотался на веревке на шесте. Его били головой о мостовую. По Театральному проезду в людских волнах катились виселицы с деревянными скелетами и надписями: «Вот плоды политики Керзона». Лакированные машины застряли у поворота на Неглинный в гуще народа, а на Театральной площади было сплошное море. Ничего подобного в Москве я не видал даже в октябрьские дни. Несколько минут пришлось нырять в рядах и закипающих водоворотах, пока удалось пересечь ленту юных пионеров с флажками, затем серую стену красноармейцев и выбраться на забитый тротуар у Центральных бань. На Неглинном было свободно. Трамваи всех номеров, спутав маршруты, поспешно уходили по Неглинному. До Кузнецкого было свободно, но на Кузнецком опять засверкали красные пятна и посыпались ряды. Рахмановским переулком на Петровку, оттуда на бульварное кольцо, по которому один за другим шли трамваи. У Страстного снова толпы. Выехала колесница-клетка. В клетке сидели Пилсудский, Керзон, Муссолини. Мальчуган на грузовике трубил в огромную картонную трубу. Публика с тротуаров задирала головы. Над Москвой медленно плыл на восток желтый воздушный шар. На нем была отчетливо видна часть знакомой надписи: «...всех стран соеди...»

Из корзины пилоты выбрасывали листы летучек, и они, выряя и чернея на голубом фоне, тихо падали в Москву.

К 90-летию со дня рождения М. А. БУЛГАКОВА

МАСТЕР

При жизни Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940) был известен как драматург. Прошло более двух десятков лет после его смерти, когда появились его главные прозаические произведения, до той поры лежавшие в рукописях: «Жизнь господина де Мольера» (1962), «Театральный роман» (1965), наконец, «Мастер и Маргарита» (1966—1967). Создавалось удивительное впечатление, что одновременно с нами живет и работает в советской литературе 60-х годов крупный мастер, идущий в своей художественной прозе от вершины к вершине.

Однако архив любого автора, как и самый глубокий колодец, имеет дно. Все меньше остается неопубликованных булгаковских рукописей. Но любознательный читатель, преданный таланту Булгакова, еще может рассчитывать на свежий запас впечатлений: большинство рассказов и фельетонов Булгакова, часто мелькавших в газетах и журналах первой половины 20-х годов, не перепечатывалось в наши дни и ни разу не собрано в отдельной книге.

Булгакову было немногим более тридцати, когда он начал сотрудничать в газете «Накануне», литературное приложение к которой редактировал А. Н. Толстой.

Яркая зарисовка с натуры — очерк «Бенефис лорда Керзона», напечатанный в «Накануне» 19 мая 1923 года. Это поразительно точный моментальный снимок дня, где между прочим выразительно запечатлен Маяковский, выступающий с балкончика обелиска Свободы, который я еще помню своей детской памятью на площади перед Моссоветом. В очерке мы находим также отголосок таких громовых событий мая 1923 года, как убийство в Лозанне советского дипломата В. В. Воровского и меморандум министра иностранных дел Англии Джорджа Керзона, направленный Советскому правительству. Этот документ, получивший в истории дипломатии название «ультиматум Керзона», содержал требование об удалении советских представителей из Ирана и Афганистана, выплаты компенсаций за репрессии против английской агентуры и т. п., вызвал бурное возмущение, волну митингов и демонстраций.

Рассказ «Чаша жизни», опубликованный в «Литературных приложениях» 31 декабря 1922 года, это история падения разложившегося совслужащего, «захлестнутого стихией НЭПа», как принято было говорить.

Эти два рассказа, конечно же, принадлежат к той эпохе, которую сегодняшний читатель вполне может назвать далекой, столь разительно изменилась жизнь, нравы, привычки и характеры. Но литературная ценность их очевидна. Начинающий писатель Булгаков был наблюдательный человек, с неподдельным чувством юмора, умевший видеть за деталью, жестом, сиюминутным поступком черты своего времени, о которых мы можем судить и по этим двум его рассказам.

Нет никаких сомнений, что, когда будет подготовлено и выйдет в свет собрание сочинений М. А. Булгакова, том с его рассказами и фельетонами займет в этом издании подобающее ему место.

В. ЛАКШИН.

Чаша жизни

Истинно, как перед богом, скажу вам, гражданин, пропадаю через проклятого Пал Васильича... Соблазнил меня чашей жизни, а сам предал, подлец!..

Так дело было. Сижу я, знаете ли, тихо-мирно дома и калькуляцией занимаюсь. Ну, конечно, это только так говорится, калькуляцией, а на самом деле жалования — 210. Пятьдесят в кармане. Ну и считаешь: 10 дней до первого. Это сколько же? Выходит — пятерка в день. Правильно. Можно дотянуть? Можно, ежели с калькуляцией. Превосходно. И вот открывается дверь, и входит Пал Васильич. Я вам доложу: доха на нем не доха, шапка — не шапка! Вот, сволочь, думаю. Лицо красное, и слышу я — портвейном от него пахнет. И ползет за ним какой-то, тоже одет хорошо.

Пал Васильич сейчас же знакомит:

— Познакомьтесь, — говорит, — наш, тоже трестовый.

И как шваркнет шапку эту об стол и кричит:

— Переутомился я, друзья! Заела меня работа! Хочу я отдохнуть, провести вечер в вашем кругу! Молю я, друзья, давайте будем пить чашу жизни! Едем!

Ну, деньги у меня какие? Я ж докладываю: пятьдесят. А человек я деликатный, на дурничку не привык. А на пятьдесят-то что сделаешь? Да и последние!

И я отвечаю:

— Денег у меня...

Он как глянет на меня.

— Свинья ты,— кричит,— обижаешь друга?!

Ну, думаю, раз так... И пошли мы.

И только вышли, начались у нас чудеса! Дворник тротуар скребет. А Пал Васильич подлетел к нему, хвать у него скребок из рук и начал сам скрести.

При этом кричит:

— Я — интеллигентный пролетарий! Не гнушаюсь работой!

И прохожему товарищу по калоше — чик! И разрезал ее. Дворник к Пал Васильичу и скребок у него из рук выхватил. А Пал Васильич как заорет:

— Товарищи! Караул! Меня, ответственного работника, избивают!

Конечно, скандал. Публика собралась. Вижу я — дело плохо. Подхватили мы с трестовым его под руки — и в первую дверь. А на двери написано: «и подача вин». Товарищ за нами, калоша в руках.

— Позвольте деньги за калошу.

И что ж вы думаете? Расстегнул Пал Васильич бумажник и, как заглянул я в него — ужаснулся! Одни сотенные. Пачка пальца в четыре толщиной. Боже ты мой, думаю. А Пал Васильич отслюнил две бумажки и презрительно товарищу

— П-палучите, т-товарищ.

И при этом в нос засмеялся, как актер:

— А. Ха. Ха.

Тот, конечно, смылся. Калошам-то красная цена сегодня была полтинник. Ну, завтра, думаю, за шестьдесят купит.

Прекрасно. Уселись мы и пошли. Портвейн московский, знаете? Человек от него не пьянеет, а так, лишается всякого понятия. Помню, раков мы ели и неожиданно оказались на Страстной площади. И на Страстной площади Пал Васильич какую-то даму обнял и троекратно поцеловал: в правую щеку, в левую и опять в правую. Помню, хохотали мы, а дама так и осталась в оцепенении. Пушкин стоит, на даму смотрит, а дама на Пушкина.

И тут же налетели с букетами, и Пал Васильич купил букет и растоптал его ногами.

И слышу сдавленный голос из горла:

— Я вас? К-катаю?

Сели мы. Оборачивается к нам и спрашивает:

— Куда, Ваше Сиятельство, прикажете?

Это Пал Васильич! Сиятельство! Вот, сволочь, думаю!

А Пал Васильич доху распахнул и отвечает:

— Куда хочешь.

Тот в момент рулем крутанул, и полетели мы, как вихрь. И через пять минут — стоп на Неглинном. И тут этот рожком три раза хрюкнул, как свинья.

И что же вы думаете! На это самое «хрю» — лакеи! Выскочили из двери и под руки нас. И метрдотель, как какой-нибудь граф:

— Сто-лик.

Скрипки:

Под знойным небом Аргентины...

И какой-то человек в шапке и в пальто, и вся половина в снегу, между столиками танцует. Тут стал уже Пал Васильич не красный, а какой-то пятнистый, и грянул:

— Долой портвейны эти! Желаю пить шампанское!

Лакеи врассыпную кинулись, а метрдотель наклонил пробор:

— Могу рекомендовать марку...

И залетали вокруг нас пробки, как бабочки.

Пал Васильич меня обнял и кричит:

— Люблю тебя! Довольно тебе киснуть в твоем Центросоюзе. Устраиваю тебя к нам в трест. У нас теперь сокращение штатов, стало быть, вакансии есть. А в тресте я царь и бог!

А трестовый его приятель гаркнул: «Верно!» и от восторга бокал об пол...

Что тут с Пал Васильичем сделалось!

— Что,— кричит,— ширину души желаешь показать? Бокальчик разбил и счастлив? А. Ха. Ха. Гляди!!

И с этими словами вазу на ножке об пол — раз! А трестовый приятель — бокал! А Пал Васильич — судок! А трестовый — бокал!

Очнулся я только, когда нам счет подали. И тут глянул я сквозь туман — о-д-и-н м-и-л-л-и-а-р-д девятьсот двенадцать миллионов. Да-с.

Помню я, слюнил Пал Васильич бумажки и вдруг вытаскивает пять сотенных и мне:

— Друг! Бери взаймы! Прозябаешь ты в своем Центросоюзе! Бери пятьсот! Поступишь к нам в трест и сам будешь иметь!

Не выдержал я, гражданин. И взял я у этого подлеца пятьсот. Судите сами: ведь все равно пропьет, каналья. Деньги у них в трестах легкие. И вот, верите ли, как взял я эти проклятые пятьсот, так вдруг и сжало мне что-то сердце. И обернулся я машинально и вижу сквозь пелену — сидит в углу какой-то человек и перед ним бутылка сельтерской. И смотрит он в потолок, а мне, знаете ли, почудилось, что смотрит он на меня. Словно, знаете ли, невидимые глаза у него — вторая пара на щеке.

И так мне стало как-то вдруг тошно, выразить вам не могу!

— Гоп-ца, дрица, гоп ца-ца!!

И кэк боком к двери. А лакеи впереди понеслись и салфетками машут!

И тут пахнуло воздухом мне в лицо. Помню еще, захрюкал опять шофер, и будто ехал я стоя. А куда — неизвестно.

И просыпаюсь я дома! Половина третьего.

И голова — боже ты мой!— поднять не могу! Кой-как припомнил, что это было вчера, и первым долгом за карман — хвать. Тут они — пятьсот! Ну, думаю — здорово! И хоть голова у меня разваливается, лежу и мечтаю, как это я в тресте буду служить. Отлежался, чаю выпил, и полегчало немного в голове. И рано я вечером заснул.

И вот ночью звонок...

А, думаю, это, вероятно, тетка ко мне из Саратова.

И через дверь босиком спрашиваю:

— Тетя, вы?

И из-за двери голос незнакомый:

— Да. Откройте.

Открыл я и оцепенел...

— Позвольте... — говорю, а голоса нету,— узнать, за что же?..

Ах, подлец!! Что ж оказывается? На допросе у следователя Пал Васильич (его еще утром взяли) и показал:

— А пятьсот из них я передал гражданину такому-то — это мне, стало быть!

Хотел было я крикнуть: ничего подобного!!

И, знаете ли, глянул этому, который с портфелем, в глаза...

И вспомнил! Батюшки, сельтерская! Он! Глаза-то, что на щеке были, у него во лбу!

Замер я... не помню уж как, вынул пятьсот... Тот хладнокровно другому:

— Приобщите к делу.

И мне:

— Потрудитесь одеться.

Боже мой! Боже мой! И уж как подъезжали мы, вижу я сквозь слезы, лампочка горит над надписью «комендатура». Тут и осмелился я спросить:

— Что ж такое он, подлец, сделал, что я должен из-за него свободы лишиться?..

А этот сквозь зубы и насмешливо:

— О, пустяки. Да и не касается это вас.

А что не касается! Потом узнаю: его чуть ли не по семи статьям... тут и дача взятки, и взятие, и небрежное хранение, а самое-то главное — растра-та! Вот оно какие пустяки, оказывается! Это он — негодяй, стало быть, последний вечер доживал тогда — чашу жизни пил! Ну-с, коротко говоря, выпустили меня через две недели. Кинулся я к себе в отдел. И чувствовало мое сердце: сидит за моим столом какой-то новый во френче, с пробором.

— Сокращение штатов.

Помертвел я... получил ликвидационные... за две недели вперед — 105 и вышел.

И вот с тех пор без перерыва и хожу... и хожу. И ежели еще неделька так, думаю, что я на себя руки наложу!..